

Александр Левитов

# Моя фамилия



# Александр Иванович Левитов

## Моя фамилия

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлую радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0017
III.....	.0025
IV.....	.0035
V.....	.0039

**Александр Иванович Левитов**  
**Моя фамилия**  
**(Из воспоминаний**  
**временнообязанного) [1]**

*Яблочко из-под яблоньки  
далеко не катится.  
Сельская пословица*

Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих родственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые тем не менее в данную минуту бесповоротно живут в тайном и никогда не выдающем

своих обитателей царстве смерти.

Зная этот роковой закон темного царства – никогда не давать глазам своих обитателей любоваться на светлое солнце, – душа моя с злою, молчаливою радостью таким образом отвечает желаниям счастливцев – посмотреть такого-то, обняться и поплакать с таким-то:

«Не-ет! погоди! Не так-то скоро, как ты хочешь, он к тебе явится оттуда. Разве уж сам к нему туда потрудишься спешествовать...»

Грудь моя наполняется при этой безмолвной думе злым смехом, колыхающим ее до того сильно, что из глубины ее слышатся какие-то ужасающе грозные урчанья...

Без малейшего смущения сознаюсь, что эти звериные урчанья производят в моей груди зависть к чужому счастью, и так как заведено – завистливого человека всегда осуждать и чураться, и так как заведено еще и то, что и осужденные, в свою очередь, обыкновенно стараются оправдать себя, то я, в силу этих двух вековых обычаев, говорю: я не желаю повторения моего детства, если бы даже это было возможно, – никогда не назову его

ни золотым, ни даже железным, потому что и железо все-таки капитал, – не хочу пожелать, даже стоя на краю гибели, чтобы из царства вечного покоя и мира, куда отец небесный призывает всех труждающихся и обремененных, пришли ко мне для моего спасения от этой гибели люди, некогда любившие меня точно так же, как были любимы счастливцы, которым я теперь так завидую.

Да! я не хочу ни того, ни другого, ни третьего, потому что, начиная оправдание моей злости и зависти людскому счастью, я говорю: вот какое было мое детство и вот каковы были люди, обязанные природой приготовить его к верному хождению по широким и шумным дорогам жизни.

В конце двадцатых годов по широким степям великороссийских губерний летала такая злая зима, какой никто из старожилов ни разу не видал в своей жизни. Голодом и холодом покрывала она печальные деревни и села, хоронила в снежных сугробах длинные обозы, обрывала соломенные крыши с убогих мужицких изб, заваливала дороги и реки, валила с могучих ног дремучие леса...

В заметенных снежными сугробами избах, при свете длинной лучины, заговорили:

– Должно, народился антихрист?

– Надо полагать, что так. У меня в эту метель-то двух лошадей с двора согнали, – теперь совсем обезножил. Боже, царь мой небесный, что я теперь буду делать?..

– Нет, я что слышал: говорят, уж он народился давно, и от роду ему теперича семь годов. Руки у него уж и теперь по семи аршин каждая, и когти на них железные по семи четвертей. Большое терзание людям от тех когтей выйдет, а? Как полагаешь?

– Известно! Одно слово – антихрист...

В нашей дворовой избе говорили в эту зиму почти то же, только антихрист в фантазиях дворовых грамотеев рисовался еще страшнее.

«И придет он аки тать в нощи, – распевали по вечерам седые грамотеи, – в предшествии мрака и бури, коей ни единое существо не воспротивится, придет с злым смехом и паскудным глумлением над христианскими душами, и возмнит он обратить те христианские души в свою антихристову веру, и при-



мется острые иглы втыкать в ногти человеческие для того, дабы совратить...»

– Ох, дедушка! – толковали наши бабочки. – Что это ты к ночи-то распечалился, – смерть! Перестань, Христа ради!

Поистине, всякий человек мог бы ополуметь от тоски, слушая эти рассказы, если бы их не разнообразили разговоры молодежи про разные зимние деревенские удовольствия.

– Ах, жаль! – скучает, бывало, какой-нибудь дворовый удалец в дубленом полушубке и с блестящей серьгой в одном ухе. – Ах, право, очень я жалею, как метели эти мешают на кулачки срезаться. Почитай вся зима прошла, а у нас ни одного еще бою как следует не было...

– Так, так! – соглашается другой, точно такой же молодец. – Хорошего в этих метелях ничего нет. Ах! Прошлой-то зимой колотились чудесно!..

И тут начинались нескончаемые воспоминания про чудесные бои прошлой зимы. Вся дворня мотивировала их на разные лады, восторженно хвастаясь друг перед другом разно-

го рода счастливыми случайностями, дававшими некогда всем этим милым друзьям полную возможность кровянить друг друга как нельзя быть лучше.

Сидел я на задней лавке, около громадной и мрачной печки, и с несказанным наслаждением прислушивался к этим воинственным эпопеям, к которым от века питает такую жаркую дружбу широкий русский молодец, за незнанием другого, более мирного и полезного дела. Я прислушивался к ним тем с большею жадностью, что главный герой всех этих дворовых сказаний был отец мой.

Это был красивый молодец, высокий, стройный и смуглый. Когда он кидался, бывало, в самую огневую схватку кулачного боя, так закорузлые полушубки попадавших на его первый кулак мужиков рвались, как паутина, а медные пуговицы, которыми обыкновенно застегиваются эти полушубки, словно пуля врезывались в тело, производя раны, увечья и всех возможных родов бесчувствия, дававшие всем этим грустным деревенским избам поводы к различным веселым разговорам, которые, за неимением лучшего, все-та-

ки сокращали долгую, угрюмую и до злости холодную сельскую ночь...

До страсти я любил слушать рассказы про отцовскую силу.

– Ферапонту-то запрещено ведь, ха? – слышится мне радостный голос какого-нибудь Петрухи, лихого бойца, но с которым тем не менее отец мой бьется одной рукой и побивает. – Ей-богу, ему запретили на бой выходить, – С полным счастьем смеется Петруха и, в свидетельство достоверности своего показания, усердно крестится.

– Как так запретили? – спрашивают.

– А так! От самого, может, царя, из самого Питенбурха! Ха, ха, ха, ха!

– От самого? Ей-богу? Да как же это?

– А вот так-то: услышали в Питере, что вот-де так и так: есть силач по имени Ферапонт Иванов, приказчик, – и крушит он на кулачках народ. Услышамши, сейчас приказ – пиши, говорит: «запрещаю я тебе, Ферапоша, на кулачный бой выходить и народ мой увечить. А ежели, говорит, ты удержи себе дать не можешь и биться по-прежнему станешь, так ты отпиши об этом в синат, я тебя тогда

прикажу лютой смерти предать». Вот он какой указ-то царский! – в радости добавлял рассказчик, выбивая на грязный пол табачную золу из короткой деревянной трубки.

– А это, братец ты мой, чудесно, ежели он биться не станет. Поколотимся мы без него за первый сорт.

– Дело ведомое!

«Сам я беспрерывно такой же лютый буду! – по секрету думал я сам с собою, валяясь на соломе дворовой избы. – Тоже я им тогда, как большой вырасту, в зубы-то пристально загляну».

Слушая такие разговоры, я чем больше вырастал, тем с большею любовью всматривался в смуглое и худощавое лицо отца, на котором всегда отражалась какая-то кроткая, но вместе с тем несокрушимая сила.

Все эти герои деревенских зимних вечеров, разбивавшие бесчисленные рати, опрокидывавшие сильных, могучих богатырей, представлялись моему тогдашнему пониманию маленечко пожиже моего отца.

«Где ему?» – мысленно говорил я себе, всматриваясь в моего отца и представляя се-

бе, как бы он громыхнул о мать – сыру землю самого Еруслана Лазаревича, могучий лик которого, сочиненный грудастым суздальцем, и теперь еще шевелит длинными усами в моей памяти. В младенческих и, следовательно, необъяснимо чутких ушах моих раздавался звон чешуйчатых богатырских лат, вдребезги разбитых кулаком моего отца, слышалось, как стонала сильная грудь Еруслана, смятая и раздробленная родной мне рукою...

Это очарование в непобедимых отеческих доблестях разрушил во мне наш помещик.

Часто мне приводилось видеть на барском дворе и просто на улице какое-то маленькое, белокурое существо, совершенно не похожее ни на одного из тех людей, которые уже успели промелькнуть в моих так еще мало видевших глазах. При первом взгляде на это существо я дерзко засмеялся над ним.

– Чей это мальчишка? – спросило существо, сердито наморщивая свои белые тонкие брови.

– А это сынишка приказчика Ферапонта, – отрекомендовали меня белобрысому существу.

– Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.

– Было бы за что! – ответил я. – Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?

За такую не по летам острую выходку меня тем не менее в самом деле выпороли. Процесс этот сопровождался со стороны отца приговариваниями, что разве можно барину грубости говорить, что с баринком когда в другой раз встретишься, так сними шапчонку-то да к ручке подойди.

– Пожалуйте, мол, барин, ручку поцеловать. Вот как!

В первый раз в это время мое младенчество покорилося жизненной необходимости, точно так же как в то же именно время меня посетило чувство ненависти и отвращения к людям. Рука, управляющая людьми, сочла, вероятно, этот момент моего возраста решительно удобным для того, чтобы перековать мою младенческую душу в душу человека, и перековала.

– За что ты меня сечешь? – корчась от стыда и боли, спрашивал я моего отца. – Я тебя люблю, а его не люблю, а ты меня за него се-

чешь?

Но тут впервые было отвергнуто, обругано и обещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами.

Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове – дворовый мальчишка. Скорой молнией мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих, – что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее стало тогда предо мною, освещенное вывеской – дворовый, и плакало вместе со мною. Собака – дворовая, Агафью зовут дворовой, – думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа, и поп спрашивал про меня у матери:

– Он у вас к дворне приписан?

– К дворне, – смирно отвечала моя всегда тихая, покорная мать.

– Значит, и я дворовый? – спрашивал я се-

бя, не чувствуя острых и резких уколов жидких березовых прутьев.

«Дворовый!» – ответила мне горячая волна слез, вдруг с новой силой хлынувшая из глаз моих, – и я стал с этого времени человеком, потому что вся грудь моя закипела тогда той непримиримой, никогда не прекращавшейся злобой, которая сделала хрипучим и шипящим мой некогда звонкий голос и от которой избавит меня только темная, навсегда мирящая людей друг с другом могила...



Молча и низко нагнувши голову, стаскивал я шапчонку с моей головы при встрече с белобрысым существом. Как теперь помню, что-то в высшей степени тяжелое и горячее подкатывалось мне в такие времена под грудь; хотелось почему-то тогда удариться этой грудью о землю, валяться по ней, биться о нее, громко стонать и плакать.

– Эй ты, мальчишка, поди-ка сюда, – властительно повелевал мне барин, и я подходил к нему теми медленными, неровными шагами, какими подходят обывковенно молодые щенки к людям, которые их дрессируют.

– Ну что, выучил тебя отец шапку снимать перед барином, а? Ха, ха, ха! А? Выучил?

– Выучил-с...

– Да ты что буркалы-то свои все в землю прешь? Ты прямо на меня смотри. Ты, верно, стыдишься чего-нибудь? Должно быть, украл что-нибудь?

Эти вопросы, так сказать, постоянно дрессировали меня, как щенка. В той избе, где я родился, ни разу ни одна мать и ни один отец

не спрашивали у своих ребятишек:

– Петрушка! Зачем ты, как бык, все в землю бельмы-то пулишь? Стыдишься, должно быть, оттого, что украл что-нибудь?

Там, в этих избах, где по зимам народ мерзнет от холода или околевает от угара, как запечный таракан, где голодные дети действительно по-собачьи грызутся между собой за кусок столетнего калача, украденного матерью на прошлом базаре, – в тех избах так не говорили, и потому молодой ум мой сообразил, что барин, должно быть, невероятный дурак. Я пристально всматривался в его блестящие сапоги с высокими каблуками, в его сельскую, из смурого полотна, коротенькую жакетку, в длинные белые ногти, – и решительно перестал считать его человеком. До того все, что я видел в нем, было противоположно моим пониманиям. Вследствие всех этих безмолвных и крайне занимавших меня дум – каким именем назвать мне это, в первый раз подведшее меня под отцовскую розгу, существо, – я назвал его «полтора платья», к чему мне главным образом подала повод барская шинель с длинейшим, по тогдашним

модам, капюшоном.

Быстро разнеслось по дворне это название. Могу сказать, что многообразные вариации этого слова доставили дворовым много поводов к различным до бесконечности характерным рассказам о господах вообще и о нашем барине в частности. Унылые стены избы начинали смотреть как будто веселее, когда по ним прокатывался могучий хохот сорока человек, подлейший ужин которых приправлялся этими рассказами.

– Так как же, как же, Петруша? – спрашивала меня молодежь, выщипывая мох из стен избы для того, чтобы набить им свои трубки, за невозможностью где-нибудь раздобыться на табак. – Полторы одежды, говоришь, один носит?

– Один! – радостно отвечал я, справедливо сознавая себя героем вечера.

– Сам-то он – ни два ни полтора, а полторы одежды носит, – вклеивает в общий разговор свое серьезное слово общий всем дедушка Трифон – Нестор дворни, все лицо которого поросло седыми колючками.

Общий хохот единодушно и искренно про-

вожает дедушку Трифона в его медленном и задумчивом походе на теплую печь; а за баринном окончательно остался титул: ни два ни полтора.

Тонким дискантом затянул было кто-то песню:

*Ой, ни два ни полтора?  
В три бы шеи со двора...*

И, конечно, эта песня заслужила бы и дружный хохот и одобрение, если бы молодые женщины, бывшие тут, единогласно не восстали против нее, потому что дворовый поэт приделал к ней такой соленый припев, которого не могли даже вынести твердые и потому нисколько не взыскательные уши наших дворовых бабочек.

Посыпались анекдоты, из которых самый замечательный был тот, который рассказывал, как будто бы один барин вдвоем с немцем-управляющим старались однажды счесть полтора – и не сочли, а кучер, который их вез, счел без всякого разговора.

Боже мой! Какие наивные улыбки светились в это время на лицах слушателей и ка-

ким благоговением преисполнялась моя собственная младенческая душа к кучеру, который счел полтора, в вечную срамоту и неизгладимый позор барину с его немцем.

Ночь наконец усыпляет голодный юмор.

В намерзшие, хитрыми морозными узорами разрисованные окна как-то особенно серо било зимнее утро. Дворовая изба копошилась всеми своими сорока взрослыми душами и бесчисленным множеством малолетков. Едкий дым тютюна тонкими, летучими волнами ходил по избе и приучал молодые чумазы носы дворовых мальчишек и девчонок не отворачиваться ни от чего в мире. В громадной печи ярко пылала ржаная солома, только что отслужившая свою предпоследнюю службу в роли подстилки для людей, рассуждавших описанным вечером о барской несостоятельности по счетной части. Курчавые головки ребятишек любопытно заглядывали в печь, упорно стараясь узнать, что именно готовит им на завтрак неистощимая в этом случае изобретательность их матерей. Разговоры, главным образом, происходили на ту тему, как бы хоть несколько улучшить и пораз-

нообразить, так сказать официальный обед дворни, который она стряпала из так называемой мясячины.

В одно такое утро вся наша изба была взволнована необыкновенным обстоятельством следующего наказательного свойства. Однажды как-то особенно вальяжно отворилась скрипучая дверь избы, какие-то особенно толстые и седые волны морозных струй влились в нее, и вслед за этими струями вошел к нам наш белокурый барин, предшествуемый некоторым огненнородым Архипом, начинавшим входить к нему в любовь и расположение. Архип прямо подвел барина к моему отцу.

– Вот он! – сказал новый бараний тулуп – признак возникающего нового дворового могущества, в который был облечен в это утро Архип.

– Так это ты, приказчик-то? – азартно спрашивал маленький барин моего отца, наморщивая, по своему обыкновению, тонкие брови.

– Я-с! – отвечал отец. – Что вашей милости приказать угодно?

– А вот я тебе прикажу сейчас! – высокою, тонкою фистулой заговорил барин, обрушивая вслед за этим целый поток ругательств на своего верного раба.

Всю избу залил собою этот поток. Заглушил он ее разнообразные гулкие речи и уничтожил, как говорится, до самого до конца.

– Я тебе прикажу сейчас, – продолжал барин с злобным дрожанием в голосе. – Я тебе прикажу!

– Рады стараться! – тихо ответил отец, предчувствуя беду.

– Я тебе дам – рады стараться! – злобствовал барин. – Я постараюсь тебе показать, как надо за барским добром смотреть.

Обе щеки отца моего после этих слов в один момент окрасились ярким румянцем.

Лишь только увидел я, как покорно и смиренно стоит перед маленьким барином этот мощный, как бы слитый из железа великан, с яркими слезами в больших черных глазах, – лишь только я увидел, как тяжелые отцовские руки как-то страдательно сложились на широкой груди, я в первый раз в эту секунду заскрежетал едва только вырезавшимися зу-

бами и разлюбил отца, потому что разочаровался в его непобедимой силе...

– Сударь-барин! За что карать изволите?

– Я тебя, я тебя, каналья ты скверная! Ты еще разговаривать вздумал? – кричал барин, бессильно потопывая своими маленькими светлыми сапожками.

Показалось мне в это несчастное время, что отец мой в самом деле есть не что иное, как, по барским словам, скверная каналья, потому что он казался таким слабым, таким беспомощным пред этим азартным, но тем не менее беспомощным топаньем, что мне почему-то захотелось также ударить его и так же грозно топтать перед ним, как топал перед ним слабосильный барин...



В настоящее время, когда меня уже несколько не удивляют ни длинные белые ногти, ни жакетки, ни высокие сапожные каблуки, когда шинель с длинным капюшоном я называю и не могу уже иначе назвать, как шинелью, а не полтора платья, – и теперь, говорю, отец мой вспоминается мне не иначе, как с лицом, на котором обыкновенно светились ум и энергия, как-то особенно изможденным и обессиленным, со слезами до того светлыми, что ни один человек ничего лучше их в целом мире не мог найти для жертвы, которая бы перед лицом Божиим искупила его печальную жизненную долю.

– Петрушка! – стонет в мои уши это лицо, когда я, горемычный плебей, прохлаждаю теперь мою безысходную злобу в кабачном омуте, – что же это за жизнь наша с тобой несчастная?

– Ш-што? – грозно вскрикиваю я при этом вопросе, безмолвно сидя до того времени за зеленым полуштофом.

Самым неистовым образом разгулявшееся

в кабачных стенах горе вздрагивает в это время от моего крика, потому что промерзшая дворовая изба вырастила меня каким-то Бовой-королевичем, голос которого в известные моменты бывает слышен на целые тридцать царств...

– Господии! Не буяньте-с! Место здесь не такое-с – казенное место, – усовещивает меня красная рубаха из александрийского кумача, надетая на широкие плечи целовальника с широкой окладистой бородою.

– Што? – еще раз спрашиваю я целым тоном выше, поднимаясь в то же время во весь мой рост, и все то, что вместе с целовальником было шокировано моим первым, лично ни к кому не относившимся вопросом, немедленно уничтожается предо мной после моего второго вопроса – и замирает...

Вслед за этим происшествием я также в первый раз на отце моем имел случай видеть все те пошлости, какие обыкновенно проделывают люди над сокрушенным могуществом, если только этим словом позволится мне обозначить обстоятельство удаления отца моего от приказчицкой должности.

Не знаю доподлинно, чем именно согрешил он против барина, но только все наше семейство вскоре после барской кары, обрушившейся на отца, было переведено из общей дворовой избы в какую-то соломенную, смазанную желтой глиной пристройку, назначенную для житья скотников и скотниц. Тьма народа, служившего до нашего переселения при этом дворе, была властительно заменена одним нашим семейством.

Во всю мою жизнь, как бы она, сверх ожидания, длинно ни растянулась, какие бы благоухающие розы ни усыпали путь ее, до сих пор исключительно тернистый, я никогда не забуду омерзительной, грязной глиняно-соломенной пристройки, в которой мать моя, вместо того чтобы выхаживать своих собственных детей, отогревала и отпаивала тонкорунных господских ягнят. Эти многоценные животные были гораздо слабее нас, ребятишек, и потому, целыми десятками умирая от избяной вони и от недостатка прислуги за ними, наводили на свою единственную попечительницу целые тучи всяких бед и несчастий. То и дело разные начальственные лица имения

надсаживали свои широкие горла в нашей закуте, мерзко облаивая мою мать за ее будто бы нестарательное обхождение с деликатными животными.

Гадость моих воспоминаний о моем детстве доходит даже вот до каких пределов: какое-нибудь жирное, отъевшееся лицо стоит в нашей избе в своей бараньей шапке, не уважая даже святости икон разжалованного приказчика, и наглым тоном хама, случайно и относительно попавшего в паны, ревет на мать:

– Отчего, отчего они у тебя – ягнятки-то – то и дело колеют? Шкур ведь не успевают снимать. А?

– А ничего не поделаешь с ними – с ягнятками-то, – робко отвечает мать, бессмысленно и пугливо перебирая мозолистыми пальцами. – Колеют они, надо правду сказать, и-их как! Упадет так-то животинка на ножки, дрягает ими, а сама все на тебя глазками смотрит таково-то печально!

– А идолята твои небось не колеют? – злобствует хам-начальник. – Небось они у тебя ногами-то не дрягают?

– Ах ты, касатик, касатик! – не вытерпела вала наконец всему покорная голова. – Какое ты пустое слово сказал – ни чуточки в нем правды нет. Вздумал ты ангельские душки к животным несмысленным применять.

– Гляди ты у меня, отставная приказчица, – продолжал орать как бы застыдившийся последних слов распекаемой наглый приказчик, – уж я же тебя когда-нибудь так-то хворостом за ягнят проберу, – любо два! Не погляжу, что ты приказчицей была! – добавляет он с довольным смехом и уходит начальствовать в другие места.

– Власть ваша! – задумчиво соглашалась мать с начальником, выразившим надежду когда-нибудь отжарить ее хворостом.

Эти дни, так сказать, скотничествования моего отца были для меня самыми несчастными днями как по своему влиянию на мою дальнейшую жизнь, так и по тогдашним мучительным выходкам, которыми тиранили нас с сестрой дворовые мальчишки, до сих пор обходившиеся с нами, как с приказчицкими детьми, по-дворовому, почтительно и деликатно.

В этот период, заступаясь за сестру, за отца и за самого себя, я слишком много разбил носов у моих крепостных сверстников и сверстниц, перекусал у них рук, плеч и щек, – слишком полными горстями рвал с их голов жидкие волосенки, чтобы во всю остальную жизнь мог удержаться от того, чтобы не бросать вокруг себя косых, злобно-серьезных взглядов бульдога, от которых сторонятся самые храбрые.

Глупый, как видите, и даже, можно сказать, собачий результат производят во мне мои детские воспоминания, но тем не менее я рад, что эти воспоминания произвели во мне именно то, что произвели, а не что-либо другое. В одинокой пустоте моей бедной теперешней клетки я с улыбкой и страшно размычивым наслаждением скрежещу зубами, когда безмолвно рассуждаю о том, что моя злость отогнала от меня человека, которого или я полюбил, или который был бы для меня так или иначе полезен.

«Ну да, ну да! – тихо шепчу я себе. – Иди себе, откуда пришел, с своими нежностями, – проваливай, брат! Мне все равно. Я жил и без

тебя. Я ко всему привык, потому что все вынес... Любопытно было бы хоть на минутку взглянуть, как бы ты заежился в моей шкуре... Ха, ха, ха!..»

Новая и еще более жгучая волна наслаждения вливается тогда в грудь мою, потому что в глазах моих ясно рисуется в это время безграничная пошлость людей, почему-либо близких мне, которые в сношениях со мной ничуть не подозревают, что во мне все происходит наоборот, чем у них; часто случается, что они утешают меня во время такого беспощадного и язвительного внутреннего смеха, который если бы они услышали, так в момент бы умерли, как от укушения ядовитой змеи...

Переходя к делу от бесплодных, хотя далеко еще не полных размышлений, я так расскажу вам про смерть моего отца – отставного приказчика.

Раз как-то этой памятной мне зимой чуть ли не целых полмесяца кряду непрерывно крутилась самая дикая и необузданная метель. То и дело, бывало, вместе с ее неудержными крикливыми налетами прилетали в се-

до измученные тройки с временным отделением, свидетельствовавшим замороженных. Из нашей собственной усадьбы целые ватаги на пяти и более подводках снаряжались для того единственно, чтобы привезть одну бочку воды с реки. На знакомых сельских улицах буря закруживала и засыпала народ.

– Ферापонт Иванович! – вскрикнула однажды мать, вбегая в избу, – ведь у меня корова с водопоя убежала, самая что ни на есть лучшая.

– Что ты! – в свою очередь, ужаснулся отец, торопливо накидывая полушубок. – Как я теперь доложу об этом? – и с этим словом он стремглав бросился из избы, не успевая даже спросить, в какую сторону убежала корова.

– Стояла, стояла она у водопойного корыта, – разговаривала мать про беглянку сама с собой, – смотрела, смотрела, как вьюга крутится, да как заревет вдруг, да как бросится, хвост кверху задравши. Такая-то непутевая коровенка!

Разговаривала мать про это происшествие до самого вечера, а отец все еще не возвращался с своих поисков. На третий день доло-



жили барину, что вот, мол, сударь, грех какой прилучился: побежал в метель Ферапонт Иванов за коровой – и теперь его нет. Как, дескать, прикажете с этим самым грехом быть?

Покрутил барин белые усы, слушая этот доклад, задумался как будто немного и проговорил:

– Пусть в конторе суду напишут, что, мол, Ферапонт Иванов убег.

– Убег и есть, надо полагать! – согласились в селе до того единогласно, что и в степь, за туманенную снежною пылью, не пошли посмотреть: не лежит ли где-нибудь Ферапонт Иванов в каком-нибудь снежном кургане, не стонет ли он в какой-нибудь трущобе, свой последний, страшный конец проклиная.

– Беспременно он теперича в Одест убег! – предполагали все заинтересованные участью Ферапонта Иванова.

Родные даже гостинцев принялись от него ждать.

– Страсть как в этом краю беглые богатеют, – толковали в усадьбе, – потому, одно слово: в сторонах тех не житье, а малина!

А между тем отец и не думал бежать в

Одест. Его могучую силу просто-напросто злая метель-непогода уложила навек в нашу же землю родную, на которой одинаково часто зарождаются и могучие силы человеческие, и злые метели зимние, одни только могущие подкосить их...

Весной уже, когда стаял снег и ярко-зеленые травяные побеги разукрасили широкую степь, случайно нашел кто-то Ферапонта на ближнем поле.

Мать водила меня и сестру проститься с отцом. И теперь еще помню я, как лежал он, плотно прикрывая руками победную голову.

Не брезгая мертвым, согнившим телом, ласково целовал отца в мученические уста благовонный ветер весенний, а шумные рои звонкоголосых и блестящих мушек тихо и нежно жужжали ему вечную память...

## IV

Об матери моей много говорить нечего. Кротость ее была до того голубиная, что крайне трудно было добиться от нее единственного признака недовольства – легкого и ничуть не страшного сморщиванья густых черных бровей. Может быть, только один раз в год доводилось ей хмуриться таким образом, причем по лицу ее, всегда смирному и освещенному необыкновенно ясным выражением любви и нежности, пробегали какие-то тени, приметные, по всей вероятности, только для моего близкого, часто и пристально всматривавшегося в нее глаза.

В этих редких случаях она укоризненно покачивала головой на человека, рассердившего ее, и говорила:

– Ах! Как это ты все пустое одно говоришь. Ни чуточки в твоих словах правды-то нет. Забыли мы, грешные, правду-то всю.

Но такого свойства молнии, говорю, исходили от нее очень редко. Чаше же всего она употребляла такую манеру выражения: склонит, бывало, вниз свою сносливую голову,

сложит руки на вдавленной груди и шепчет:

– Ах ты господи, господи! Что я с этим делом поделаю? Чего только я ребятишкам своим поужинать дам? Обголодали у меня совсем ребятишки-то. Ничего-таки мне, сироте горемычной, с горем моим поделать нельзя, – решала она в конце речи, грустно складывая на коленях беспомощные вдовьи руки.

И долго она, бывало, так-то спрашивает и отвечает себе каким-нибудь длинным зимним вечером, когда стены нашей избы частыми ружейными выстрелами громко лопались на лютом морозе, когда всю эту маленькую, убогую лачугу заваливала до крыши зимняя визгливая метель, – и так-таки ничего не решала эта бессильная женщина. Ни к одному делу не могло придумать должного конца ее робкое ночное раздумье, потому что, несмотря на детскую тоску мою, с которой я смотрел на озабоченную мать и злобствовал, что нет человека, который бы помог ей, злая зимняя вьюга по-прежнему бесновалась и визжала на улице, засыпая снежными брызгами нашу кудлатую крышу, и по-прежнему лопались и трещали беспомощные стены нашей избы,

наводя тяжелый страх и молчаливое уныние на осиротевшую семью.

Так и изныла в своих бессильных думах над обделкою разных житейских дел эта состарившаяся, но всегда младенческая душа моей матери. Умерла она без стонов, без слез и страданий. Однажды вечером говорит мне:

– Петрушка! Сбегай-ка ты за попом да из соседей кого-нибудь позови.

Я сбегал за попом и привел соседей; а у нас в переднем углу под образами зажжены уже восковые свечи и на столе постлана белая скатерть. Сама мать все это своими руками сделала.

– Батюшка! – сказала она попу с передней лавки, на которой уже томилась смертным томлением. – Последний конец мой пришел, – проводи меня, как христианской душе подobaет.

И поп и соседи подумали, что она сошла с ума.

– Вот, – толковали все, – сама свечи святым образам зажгла, сама скатерть на стол постлала, а говорит, что последний конец пришел.

Тогда только поверили люди, что мать не

пьяная и не сумасшедшая была в то время как их к своей смертной постели звала, когда уже очи ее навек от ее несчастной доли закрылись.

После этого в народе заговорили, что, должно быть, Авдотья святая была, потому что смерть себе, здоровая совсем, сама напро- рочила...

После смерти матери вышел от барина указ – взять малолетних сирот Ферапонта Иванова на барский двор для жития, как говорилось, с их бабкой. А бабка эта такая старуха была, что уж и не помнила, когда родилась, сколько ей лет, – не знала, а жила она в барском доме на сенях, потому собственно, что у бабки нынешнего барина, совсем уже бесчувственной старухи, которая, так сказать, неслазаемо сидела в креслах да шептала что-то, ежесекундно подрягивая седой головою, горничной когда-то была. Все ее настоящие обязанности состояли в том только, чтобы сидеть в креслах против старой барыни, смотреть, как она головою дрягает, слушать, как шепчет, и отгадывать, когда ей захочется пить или есть. Ровесница своей барыне, она в то же время была в тысячу раз и моложавее ее на вид и крепче. Высокая грудастая старуха с серьезным, красным лицом, она постоянно сердилась и бранила всех, попадавших ей на глаза, не исключая и самого барина. В резвой побежке дворового мальчишки, прино-

равливаемого к лакейству, в звонком хохоте барина, в тихом шушуканье сенных девиц старый посинелый нос ее чуял непременно смертные грехи, за которые, по ее мнению, сейчас же разразится над головами прыгающих, хохочущих и шушукующих гром небесный и разобьет их в мелкие дребезги.

– После этого, – басила бабка, – грешные души пойдут прямо в ад, а в аду – огонь, жупел...

– Э! ну тебя к свиньям, Елена Павловна! – восклицал досадливо барин в ответ на бабкины рацеи, боявшийся ее, впрочем, настолько, что иначе как Еленой Павловной называть ее ему и во сне ни разу не виделось.

– Постыдился б, молокосос, старого человека лаять, – конфузила бабка своего белобрысого властелина. – Ты б еще бабенку выругал заодно б уж. Ты, может, полагаешь, что как ты барин, так дурость твоя на том свете тебе и простится?..

– Э! ну тебя к свиньям! – повторял барин, оставляя обеих старух наедине, чтоб их слепые глаза удобнее и пристальнее могли рассматривать друг на друге сокрушительные следы, положенные на них сокрушающим



временем.

Чем больше кого любила эта древняя старуха, тем более стращающие потоки разных ужасов про ад и его жупел обрушивала она на своего любимца, следя неотвязно за каждым его шагом, за морганием глаз и даже, кажется, за душевными его помыслами. Тип человека, имевшего некогда населить светлые райские кущи, рисовался в ее представлении такими красками: он должен был по целым дням недвижимо сидеть на своем седалище, иметь губы сложенными в виде сердечка, а глаза – сладко моргающие, слегка увлажненные слезами благодарности за ее, Елены Павловны, благодеяния и попечения. На вопрос Елены Павловны такому человеку следовало отвечать вставши, со смирением и тихостью, по ее словам, всякому православному христианину подобающими.

В период последних жизненных проявлений старой барыни, заключавшихся главным образом в ядении одних только киевских просфор, в знакомстве с различными странниками, блаженными, юродивыми, провидцами и предсказателями, которые снабжали

старух этими просфорами, – бабка научилась громадному количеству славянских слов, вырванных из текста Священного писания, – и потому в то время, как я с сестрой попал в ее руки, ее собственная проповеднически-наставительная речь об аде, о грехах обильно пересыпалась различными: аще, комуждо, такожде, якоже, можаху и проч.

Лично для меня слова эти имели тогда какое-то особое значение, которое заставляло меня неуклонно по целым часам, с страшно выпученными белками, слушать бабкины штуки.

– Ты что заезозил? – обыкновенно спрашивала меня бабка, когда я из-за церковной азбуки украдкой смотрел в окно на цветущее весеннее утро. – Упекут тебя на том свете за леность! Лицеприятия там ни для кого не будет.

Тоска какая-то, до слез сосавшая сердце, и в то же время страх нападали на меня при раздумывании о том – кто или что такое именно кийждо и лицеприятие? Они представлялись мне тогда какими-то грозными великанами, поселенными в аду для муки тех

грешников, которые вместо того, чтобы изучать титла и апострофы церковной азбуки, глазают в окна на подернутую нежным сиянием утреннего солнца улицу и глубоко завидуют никем не стесняемой свободе певчих птичек, так радостно летающих и поющих на этой улице.

Мою ребячью резвость, крайне развившуюся в скотнической избе в играх с грациозными ягнятами, сразу осадили бабкины истории. Для нас с сестрой в особенности она выложила всю сокровищницу старинных сельских преданий про неисчислимыя беды того света, имеющие некогда непрерывным дождем, во все продолжение бесконечной вечности, литься на бедные головы грешников.

– И не будет тем мукам никакого конца... – разговаривала бабка, усадив нас с сестрою около себя. – Будут в ваши уши всякие идолы реветь звериными голосами, подложат они под вас огонь с серою, а сами вы станете кипеть в этаких ли большущих котлах с черной смолою; а насупротив вас праведники в райских садах возликуют, – и еще пуще вам мучение прибавится оттого, что сами в рай не по-

пали. Вот что баловникам-то выйдет от господа бога! – торжественно заключала она, обдавая нас за наши перепуганные ее рассказом и, следовательно, смиренные лица изюмом, прихваченным ею из барской кладовой.

Молоденькие сельские цветки, ласкаемые до этого времени только вольным ветром да солнечным светом, – мы с сестрой склонили перед бабкиными страстями наши до сих пор беззаботные головы и задумались. Баловства уже не было и в помине. Целые дни мы, как ошалелые мухи, уныло сидели в этой унылой и, так сказать, бархатно-обветшалой комнате в сообществе двух угрюмых, старых развалин.

– Пойдем выбежим на улицу! – шептала мне сестра, чуть только бабка выходила из комнаты. – Хоть бы чуточку на траве поиграть!.. Может, и не увидит.

– Увидит! Она все видит, даром что стара, – мрачно отвечал я розовым губкам девочки, которые с каждым днем делались все бледнее.

– Пойдем, пойдем! – увлекала меня женская страсть. – Не увидит.

– А тот свет-то? – возражал я. – Ведь конца

никакого тем мукам нет, – всё только нас жечь станут да в уши будут реветь по-звериному. Забыла разве, какой там кийждо-то посажен?..

Так и оставалась бедная девочка с открытыми, умоляющими глазками, когда я проносил страшное слово – кийждо; словно столбняк находил на нее и на меня, когда нам приходилось увещевать друг друга не грешить, под опасением того мучительного штрафа, который бесконечно имели взыскивать с нас многочисленные кийждо и лицепрятие.

Часто зимними вечерами, при тайном свете месяца, лившегося в нашу неосвещенную тюрьму (старая барыня обыкновенно жалобно визжала, когда вносили свечи), при грозном вое степной метели, мы с сестрой решали – кто именно такие наши мучители, постоянно упоминаемые бабкой, – и однажды, в минуту слетевшего на нас вдохновения, единогласно решили, что кийждо должен быть в этой страшной семье мужем-людоедом, лицепрятие – женой, а стена – их любящим и любимым сыном.

Долго бы таким образом пришлось нам набивать наши головы уродливыми фантазиями бабки, если бы, вскорости одна после другой, не перемерли обе старухи, и, следовательно, на счастье или несчастье, мы не были бы выпущены из нашей клетки на полную жизненную волю, такую горькую и сокрушительную для всех людей вообще, а для малолетних дворовых сирот в особенности.

Дело это произошло следующим образом.

Однажды старая барыня как-то особенно энергично задрогала своей дряхлой головою, точь-в-точь молодой цыпленок, когда меткий камень баловника-мальчишки опрокинет его вверх брюшком.

Бабка встрепенулась. При самом тщательном взглядывании в лицо своей повелительницы она никак не могла отгадать, вследствие каких именно потребностей барыня дрягает головой и даже стонет.

– Питиньки, что ли, вам, али естиньки? – спрашивала бабка у немощной, но немощная вместо обыкновенного подтверждающего кивка еще сильнее и недовольнее затряслась уже не одной только головой, а всем телом.

Бабка усилила свои наблюдательные средства, состоявшие в многолетней привычке и подслепых глазах; но все-таки, кроме болезненных стонов, ничего не слыхала и, кроме трясения головы, ничего не видела. Барыня сама уже разрешила ее сомнения. Она вытянулась в креслах во весь свой высокий, стройный рост, пленявший, говоря слогом Карамзина, некогда напудренных петиметров блистательного екатерининского двора, и, в качестве супруги бригадира, отправилась в Ростов на свидание с супругом.

Ну и мир бы ей – этой жизни, которая во весь свой длинный век ничего не придумала лучше, как во время оно заставить дюка де Белиль, маркиза де Грильон[2] обожать себя, да в нынешнем столетии – умереть; мир бы ей – этой, в период непрерывного трясения и дрожания, доброй, потому что неподвижной и онемевшей, старухе; но нашлись же души, которые не попомнили неисчислимого количества того далекого зла, которое сделала эта барыня, когда, блистая яркими французскими румянами и дикой энергией темниковской медведицы[3], не удостоенной аттестата

Сморгонской медвежьей академии[4], звонко смеялась, наивно и вместе с тем кровожадно потешаясь над людскими жизнями.

В числе этих сочувствовавших душ была и моя бабка. Сначала смерть барыни как-то странно поразила ее. Она с особым вниманием всматривалась в покойницу, ожидая как бы, что вот-вот по-прежнему заживет эта длинная, столетняя жизнь. Бабке, видимо, не желалось верить, чтобы могло умереть что-нибудь из екатерининских времен. Ее до того заняло это смертное событие, что недели две, по крайней мере, она не говорила не только про кийждо, но даже не сделала ни одного обыкновенного житейского вопроса или ответа. Не обращая ни малейшего внимания даже на меня с сестрой, она, как вылитый истукан, мрачная и грозно опечаленная, просидела безвыходно эти две недели в своей наполовину опустелой комнате.

После двухнедельной безмолвной печали бабка, до того времени высокая и здоровая старуха, очевидно сгорбилась и ослабела. Такими беспомощными шагами и так низко нагнувшись стала она выходить из барского до-



ма, что мужики и бабы, редко видевшие ее в церкви, крестясь, сторонились при встрече с ней.

Подкараулить барин послал: куда и зачем ходит Елена Павловна? Донесли караульные, что Елена Павловна изволит ходить к старой барыне на могилку, где громким голосом воют и об землю даже грудкою бьются.

Билась-билась так-то старуха о землю опечаленной, по лакейским словам, грудкою – и умерла, полгода не проживши после смерти барыни.

Другой указ тогда насчет меня и моей сестры от барина вышел: отдать Ферапонтовых сирот в город – в ученье какому-нибудь мастерству.

Но и находясь в ученье я долго держал губы сердечком и не баловался, трясясь при мысли о том, как меня, по бабкиным словам, в аду будет мучить за баловство беспощадное лицепрятие или стень.

Благодаря наплыву разных обстоятельств я, впрочем, скоро понял всю бескапитальность оставленного мне бабкой наследства; но недавно, случайно свидевшись с сестрою,

я, признаться, на радостях выпил немножко более того, что, так сказать, законами света дозволено всякому джентльмену, так сестра-то, глядя на это, совсем как бабка заговорила:

– Ах, Петруша! Что же это ты так напиваешься? Знаешь, как пьяниц на том свете будут за это? Железным крюком за ребро...

Тут и конец моей фамильной истории; а вместе с тем и конец обещанному оправданию моей зверской радости чужому несчастью. Конечно, тема моя далеко не исчерпана; но зачем же мне продолжать ее, когда я знаю, что если честно и правдиво рассказать людям о тех кривых и неимоверно длинных путях, по которым иные несчастные сироты нашего общества ходят за светлой правдой, так люди-то отвернутся от этой правды, как отвертываются черти от ладана... Следовательно, это был бы напрасный труд... ну, значит, – и *finite la comedia!*[5]

# Примечания

Печатается по изданию: «Горе сёл, дорог и городов». М., 1874, с. 73—97. Впервые опубликовано в журнале «Якорь», 1863, No 3, под заглавием: «Лирические воспоминания Ивана Сизого. 1. Мои старики», с подписью: *Иван Сизой*. В переработанном виде напечатано в газете «Неделя», 1868, NoNo 7 и 8, под заглавием: «Моя фамилия (*Старый рассказ*)».

Г. В. Плеханов в своем разборе первого тома сочинений Левитова (1884 года) написал о герое этого очерка: «Легко понять, как вырастает озлобление и как поэзия будущего („Zukunftstaats“) необходима для устранения этого озлобления». Он отмечал присутствие в очерке «психологии классовой борьбы и ненависти» («Литературное наследие. Г. В. Плеханова». М., Соцэкгиз, 1938, с. 239 и 240).

[^^^]

*Дюк де Белиль маркиз де Грильон.* – Выходец из знатного французского рода Белиль (Belle-Ysle).

[^^^]

# 3

*Темниковская медведица* – по названию города Темникова в Тамбовской губернии.

[^^^]

## 4

*Сморгонская медвежья академия.* – Особая школа в местечке Сморгонь Виленской губернии, где дрессировали медведей.

[^^^]

# 5

Комедия окончена! (*итал.*)

[^^^]